



Лев Толстой
—
Кавказский пленник
Хаджи-Мурат



Москва
2022

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1я44
Т53

В оформлении титула использована иллюстрация
В. А. Полякова

Толстой, Лев Николаевич.
Т53 Кавказский пленник; Хаджи-Мурат / Лев Толстой. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с. — (Яркие страницы).

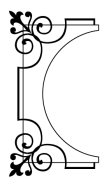
ISBN 978-5-04-154182-8

Молодой Лев Толстой оказался на Кавказе случайно, но все опасности военной кавказской жизни испытал на себе. Так Кавказский период стал для писателя одним из главных в жизни. Здесь он, впервые участвуя в набеге на горцев, получил свой первый военный опыт и впервые увидел насколько хрупка жизнь человека и несправедлива война, что, безусловно, отразилось в размышлениях о войне в «Войне и мире». Именно на Кавказе Лев Толстой написал свой первый рассказ «Набег» и сразу заявил о себе как о писателе с большим будущим. Тогда же узнал об истории Хаджи-Мурата, но повесть об этом герое дописал только в 1900-х годах, однако публиковать не разрешил.

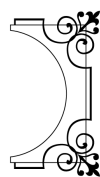
В данной книге повесть «Хаджи-Мурат» представлена с предисловием и комментариями Л. Чуковской.

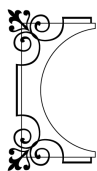
УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1я44

ISBN 978-5-04-154182-8
© Чуковский Д. Д., предисловие, комментарии, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022



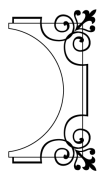
ПОВЕСТЬ





«Хаджи-Мурат» Льва Толстого

Вступление



РАССКАЗ НА ПРОГУЛКЕ

В 1859 году в одном из флигелей яснополянского дома Толстой устроил школу для крестьянских ребят. Редкостная дружба связывала учеников и учителя. Зимой они вместе катались на санях и на коньках, играли в снежки; летом вместе барахтались в пруде, вместе ходили в лес за грибами.

«Мы так сблизились с Львом Николаевичем, как вар с дратвой, — вспоминал впоследствии один из учеников яснополянской школы. — Мы были неотлучны от Льва Николаевича, и нас разделяла одна только ночь».

Зимними вечерами Толстой сам разводил учеников по домам и по дороге рассказывал им увлекательные и страшные истории. На одной из таких прогулок он рассказал школьникам историю знаменитого кавказского горца — Хаджи-Мурата.

...«Только что я умолкал, Федька уже требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания... Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его окружили?» — спросил Семка. «Ведь тебе сказывали — умирать собрался!» — отвечал огорченно Федька. «Я думаю, это молитву он запел!» — прибавил Пронька».

В повести о Хаджи-Мурате, написанной Толстым через несколько десятилетий после этой вечерней прогулки, никто из окруженных горцев не бросается сам на кинжал; но один из верных мюридов Хаджи-Мурата поет во время смертельного боя, и поет молитву. «Курбан сидел с края канавы и пел: «Ля иллях иль Алла» / «Нет бога кроме бога».

Рассказанная в 1861 году детям яснополянской школы история гибели Хаджи-Мурата — это первый, не дошедший до нас, вариант будущей повести, это — ее зерно, ее давний прапредок. О самом Хаджи-Мурате Толстой упоминает еще раньше, в пору службы своей на Кавказе, в 1851 году, в письме к брату Сергею: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству».

Бурная жизнь Хаджи-Мурата, полная побед, поражений, измен, полная страстной борьбы и окончившаяся трагической гибелью, сильно поразила воображение Толстого. В 1896 году — через 45 лет после письма к брату о переходе Хаджи-Мурата к русским — Толстой снова вспомнил знаменитого горца. «Вчера иду по передвоенному черноземному пару, — записано у него в дневнике 19 июля 1896 года. — Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли, ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью черной, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит в бок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». Из этой записи видно, что задуман был «Хаджи-Мурат» как повесть о стойком сопротивлении, как повесть о человеке, не подчиняющемся обстоятельствам, стремящемся их одолеть, хотя бы и ценою жизни.

«Хочется написать». И Толстой принялся за работу. Он писал повесть о Хаджи-Мурате в общей сложности около

восьми лет — с 1896 по 1904 год, — надолго отрываясь от нее для писания тех вещей, которые он считал более важными, откладывая ее иногда на многие месяцы, но неизбежно возвращаясь к ней снова. Он писал ее в те годы, когда под влиянием своих религиозных идей почти отказался от художественного творчества, считая его «пустым», «ничтожным» занятием, как бы «потихоньку от себя», — но, перечеркнув написанное, начинал сызнова и произвел для своей небольшой повести целое историческое исследование, используя для нее большой документальный материал.

«ПОДРОБНОСТИ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ»

«Когда я пишу историческое, — говорил Толстой, — я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности».

Известно, какое огромное количество документального материала, печатного и рукописного, изучил Толстой, работая над «Войной и миром». Тут были и письма современников, и воспоминания участников боев, и исследования специалистов-военных. Велика была также подготовительная работа к «Хаджи-Мурату». Толстой изучал жизнь, сказания, предания народов Кавказа; их оружие, их одежду, их пищу; их обычаи и верования, их религиозные обряды. Друг Толстого, замечательный критик и искусствовед, Владимир Васильевич Стасов, служивший в те годы в Публичной библиотеке в Петербурге, посылал ему целые ящики книг о Кавказе и о Шамиле. Толстой читал записки современников и очевидцев, помещенные в исторических журналах, доклады военному министру Чернышеву кавказского наместника Воронцова, доклады Чернышева царю, «записку, составленную из рассказов и показаний Хаджи-Мурата», воспоминания русских офицеров, служивших на Кавказе, и воспоминания о Николае участников декабрьского восстания. Не довольствуясь материалами, опубликованными в печати, он добывал

материалы из государственных архивов, из Петербургского и Тифлисского, — и письменно опрашивал старых людей, которые в девяностых годах еще помнили события пятидесятых и видели живого Хаджи-Мурата. Он обратился с письмом к вдове нухинского начальника Карганова, у которого жил Хаджи-Мурат накануне бегства. По этому письму можно судить, как сильно занимала Толстого «действительность в ее мельчайших подробностях».

«Чи были лошади, на которых он хотел бежать, — спрашивает Толстой старушку Карганову, — его собственные или данные ему? Хорошие ли это были лошади и какой масти? Заметно ли он хромал?»

Бывшую фрейлину императорского двора, А. А. Толстую, Толстой просит сообщить ему «именно подробности, именно обыденной жизни». Он тратит много усилий, чтобы разузнать, носил ли Николай I в пятидесятых годах плюмажи или «они оставались у генералов, а государь уже не носил их». Один из друзей Толстого, навещавший его во время тяжелой болезни, рассказывает, что Лев Николаевич даже в жару был сильно озабочен тем, правильно ли именуется он в повести кавказского наместника Воронцова, имел ли Воронцов в ту пору титул князя или он оставался графом?

Огромная подготовительная работа не пропала для художника даром. Повествование, развивающееся с такой естественностью, живостью и простотой, как будто оно было в один вечер рассказано на прогулке детям, на самом деле выверено и точно в каждом слове. Идет ли речь о том, из какой табакерки нюхал табак Воронцов, или о том, какого цвета шуба была на Шамиле, или о партии виста в гостиной, или о соловьиных трелях в Нухе — чуть ли не каждая мелочь, даже соловьиная трель, может быть подтверждена документом.

Исследователи творчества Толстого давно уже с неоспоримой наглядностью продемонстрировали документальную основу повести, сопоставив страницы из «Хаджи-Мурата»

со страницами тех документов, которые были использованы Толстым¹.

Так, например, ознакомившись с воспоминаниями офицера Полторацкого, служившего в пятидесятых годах на Кавказе, Толстой сделал мемуариста одним из героев своей повести, заимствовал из его рассказа многие детали, а несколько страниц из его воспоминаний прямо включил в свой текст. В «Воспоминаниях» Полторацкого есть описание обеда, данного князем Барятинским в честь уезжающего генерала Козловского. Козловский, запинаясь и прибавляя к каждому слову словцо «как», произносит прощальную речь; «Господа офицеры, как, дорогого сердцу моему, как, Куринского полка! — передает эту речь участник обеда Полторацкий. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю душевную признательность!» — Слезы душили его. Не в силах подавить волнение, Козловский зарыдал и порывисто бросился обнимать офицеров, всех — от первого до последнего».

«...Княгиня закрыла лицо платком: она плакала. Даже князь Семен Михайлович, как-то странно скривив рот, заморгал глазами».

Весь этот отрывок из воспоминаний Полторацкого, весь, целиком, с речью генерала и со всеми подробностями обстановки, со слезами княгини и искривленным ртом Семена Михайловича Воронцова, вошел в XXI главу повести Толстого с незначительными пропусками и почти без перемен (см. с. 142).

Таких примеров текстуальных совпадений страниц повести со страницами воспоминаний очевидцев и официальных бумаг исследователи приводят немало. Хаджи-Мурат в Тифлисском театре; Хаджи-Мурат, беседующий с Лорис-Меликовым; обстоятельства гибели Хаджи-Мурата — все это написано Толстым на основе газетных сообщений, официальных

¹ См.: Л. Мышковская. Л. Толстой. Работа и стиль. — М., 1939. Статья «Создание «Хаджи-Мурата».

бумаг или воспоминаний очевидцев. Но, разумеется, Толстой не ограничил свою роль ролью бесстрастного компилятора. Широко используя документальный материал, Толстой превращает точные, но порой бледные и вялые записи современников в напряженный, взволнованный и волнующий художественный текст.

Используя тот или другой документ, Толстой в то же время постоянно отступает от него, властно подчиняя чужой материал своему художественному замыслу, драматизируя материал, обогащая его новыми подробностями, которые он не мог найти ни в каких источниках, кроме собственной памяти или собственного воображения. Ведь два года — с 1851-го по 1853-й — Толстой сам прожил на Кавказе. Это были годы ожесточенной борьбы горцев с царскими войсками. Толстой сам был участником кавказских событий, отлично знал обстановку борьбы в горах и природу Кавказа. Знал не понаслышке, не из книг, а на опыте. И вот они-то, эти взятые им «у себя самого» подробности, составляют силу и жизнь повести.

«С обнаженной головой, без шапки, — рассказывает один из биографов Хаджи-Мурата, чья работа была в руках у Толстого, — Хаджи-Мурат, как тигр, выскочил из своей засады и с шашкой в руке один врзался в густые толпы милиционеров. Он был изрублен на месте».

«Он совсем вышел из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам, — рассказывает о той же минуте Толстой. — Раздалось несколько выстрелов. Он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбежавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался». Когда читаешь этот отрывок из повести, во многом совпа-

дающий со страницами использованного Толстым материала, но обогащенный конкретными подробностями боя («пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам», «поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова»), кажется, что Толстой, словно живой водой sprysнул чужие бесцветные сухие записи, сделав их драматичными, насытив собственными деталями. Детали, введенные им, продиктованы пронзительной остротой художественного зрения, и, когда читаешь страницы Толстого, рядом с чужими страницами, взятыми им за основу, начинает казаться, будто именно он, Толстой, а не свидетели, чьими записями он пользовался, был очевидцем гибели Хаджи-Мурата... Животворящие подробности, приданные документальному материалу Толстым, — эти мягкие неслышные шаги Воронцова, эти тени горцев в просвете между деревьями, это шуршание солдатских сапог по сухим листьям, этот посеревший от пота белый конь, эта выдающаяся, как у детей, верхняя губа умирающего Элдара — сообщают всему происходящему несокрушимую убедительность события, совершающегося у нас на глазах.

БОРЬБА МОРАЛИСТА С ХУДОЖНИКОМ

Для того чтобы написать свою повесть, Толстой тщательно изучил быт того времени, о котором он рассказывает, и характеры тех исторических лиц, которые выведены у него в повести. И не только изучил, но и воспроизвел с такой силой и жизненностью, что и читатель почувствовал себя, вслед за Толстым, свидетелем описанных событий, хотя с той поры прошло без малого полсотни лет. Но тем не менее рядом с утверждением Толстого, что он любит быть «верным действительности», следует поставить и другие слова его, сказанные одному из друзей: «На художественные произведения берут только то, что по шерсти, а что не по шерсти — откидывают».

Что же «откинул» Толстой, работая над «Хаджи-Муратом», и можно ли считать его повесть исторически правдивой в современном значении этих слов?

Лев Толстой был убежденным противником всякой социальной борьбы. В пору работы над повестью главным делом своей жизни он почитал проповедь нравственного самоусовершенствования. Естественно поэтому, что «историческую точность» он понимал по-своему, в духе своих моралистических идей, враждебных всякой социальной борьбе. Нравственные, моральные проблемы стояли у него в те годы на первом плане; они ему, пользуясь его же выражением, были «по шерсти»; политический же и социальный смысл событий на Кавказе — тех событий, которым, в сущности, и посвящена его повесть, — оказался ему чужд, «не по шерсти», и очень характерно, что, работая над повестью, он зачеркнул несколько написанных ранее глав, где рассказывалось о причинах кавказских восстаний. Толстой выдвигает на передний план, «берет» не смысл той борьбы, которую вели на Кавказе Шамиль и его мюриды, и не роль, сыгранную в этой борьбе Хаджи-Муратом, а главным образом, душевные свойства знаменитого горца: его привязанность к семье, нежность к сыну, его обаяние, все то, что делает Хаджи-Мурата прежде всего «просто человеком», а не политическим борцом того или другого стана, человеком с детской, доброй улыбкой, к которому так легко привязываются другие добрые и любящие люди — Бутлер, Марья Дмитриевна, Элдар...

Естественно, что подобный подход к историческим событиям и личностям — подход, при котором душевные качества людей существуют как бы в отрыве от общественного смысла их деятельности, — неизбежно должен был в какой-то степени нарушить ту самую историческую истину, ту «верность действительности», к которой так стремился Толстой.

Нарушение истины сказалось прежде всего на том, как изображена Толстым фигура Шамиля.

Десятилетиями кавказские племена под руководством своих вождей — сначала Кази-Муллы, потом Гамзат-Бека — оказывали упорное сопротивление натиску царских войск: но только под руководством Шамиля искры сопротивления разгорелись в буйное пламя настоящей народной войны — войны против генералов, посланных царем на Кавказ для «истребления непокорных», и против ханов и беков, поспешивших вступить в союз с царскими генералами. В годы 1840—1845 Шамиль одержал столько блестящих побед, что принудил царскую армию ослабить на время свои нападения.

В течение 25 лет Шамиль был «имамом», т. е. религиозным и военным руководителем созданного им централизованного государства. Он объявил войну тем феодалам, которые держали сторону царизма, и освободил принадлежащих им крестьян от крепостной зависимости. Силой слова и силой оружия боролся он с «адатом» — старинными местными обычаями — и с самым распространенным и вредным из них: обычаем кровной мести. «Адат» разъединял горцев, а Шамиль стремился подчинить их единому закону, общему для всех племен. На место «адата» он поставил одно общее для всех мусульман право — шариат. Он строго наказывал за воровство, за уклонение от военной службы, за предательство. Он создал единую государственную казну и централизованную армию численностью в 60 тысяч человек.

Царские колонизаторы истребляли горцев Дагестана, их жен и детей. Они разоряли дотла и превращали в пустыни цветущие горские аулы. Борьба горцев под руководством Шамиля была ответом на эти зверства.

«Выдающиеся личные качества — воля, ум, храбрость, военные и административные способности — создали Шамилю широкую популярность, — пишет современный советский историк. — Тысячи горцев, самоотверженно боровшихся против царских колонизаторов, видели в нем своего вождя. Они верили в то, что под его руководством они не только от-

стоят свою независимость от внешнего врага, царизма, но и добьются социального освобождения...»

Однако на страницах повести Толстого мы не найдем и отдаленного намека на подобную характеристику самого Шамиля и его роли. Перед нами человек с «каменным», «неподвижным» лицом, более всего озабоченный тем, чтобы «производить впечатление величия»... Среди друзей и врагов Шамиль славился необыкновенной храбростью — однако о его воинской доблести Толстой не упоминает ни словом, но зато мельком, как бы невзначай, упоминает о том, что в «сражении... *что бывало очень редко*, он сам выстрелил из винтовки».

Содержание военной и государственной деятельности Шамиля Толстой оставил в стороне, как бы ничего не зная о ней, и в маленьком отрывке, посвященном имаму, хотя и скрытно, хотя и исподволь, но все же с достаточной ясностью подчеркнул лишь отрицательные черты Шамиля — его жестокость, его лицемерие, его самовластие, т. е. те черты, которые неприметно сближают имама с самодержавным деспотом — Николаем I. Недаром один из знакомых Толстого припоминает, что Лев Николаевич говорил о «параллелизме» между двумя «деспотами» — Николаем и Шамилем, недаром даже во внешности Николая и Шамиля Толстой находит какое-то сходство: у обоих огромная фигура, у обоих неподвижный взгляд; во время совещания о делах Шамиль на минуту умолкает, внушая окружающим, будто он «слушает голос пророка», — совсем как Николай I, прислушивающийся во время доклада к голосу «свыше»!

...Следы религиозного учения Толстого, учения, осуждавшего всякую общественную борьбу, всякую власть — куда бы она ни вела, — сказались и на его исторической повести. Сказались они в нарочитом подчеркивании, выпячивании на первый план жестокости Шамиля и в том, как умиленно описывает автор покорность солдата Авдеева, восхищаясь его нарочитым смирением. Но все это — лишь следы морального учения, не властные исказить глубокой истинности всего по-

вестования в целом. Как ни стремился Толстой морализировать — его влекли к себе натуры борющиеся, сопротивляющиеся, и он, подчеркивая их обаятельность, поддавался их обаянию и сам; как ни навязывал он своим героям поведение, соответствующее его моральным идеям, — но знание жизни брало верх, герои его ведут себя в соответствии с жизненной и — больше того — исторической правдой, а не с моральными идеями Льва Толстого.

В той самой сцене, где Толстой с такой неуклонной — хотя и скрытой — нарочитостью подчеркивает жестокость и властолюбие Шамиля, он не может умолчать о преданности народа, восторженно встречающего своего вождя, того, кто руководил борьбой с захватчиками. Скрыть чувства любви и восхищения, какие питали к Шамилю хотя бы Гамзат или родной сын Хаджи-Мурата — Юсуф, — Толстой не может. Он всячески подчеркивает мужество, доброту и привлекательность своего главного героя — в противоположность рассудительной жестокости Шамиля, — но при этом с той полной правдивостью, которой его художественный гений не мог изменить даже в угоду проповедуемой им философии, воспроизводит убожество и своекорыстие идеалов и стремлений Хаджи-Мурата. В самом деле, к чему стремится Хаджи-Мурат? К тому, чтобы любую ценой снова стать властителем Аварии; причем получит ли он Аварию из рук царских генералов или из рук Шамиля — ему безразлично. Смысл государственных преобразований имама ему непонятен; все поступки Шамиля он объясняет одною корыстью. Он весь во власти предрассудков, созданных родовым строем; во власти «адата», требующего «кровной мести» — того обычая, с которым, во имя сплочения горских племен, борется Шамиль... «Кровная месть» — одна из главных пружин деятельности Хаджи-Мурата. Почему он не присоединился в свое время к Гамзату? Из-за «крови» аварских ханов. Почему не пристал к Шамилю? Из-за «крови» Османа. Почему совершил паразитическое по храбрости похищение дженгутайской ханши? Чтобы смыть позор, нанесенный ему Ахмет-Ханом... Так

черты социальной отсталости героя возникают из-под пера Толстого даже тогда, когда он хотел бы всячески затушевать социальную природу личности, подменив ее душевными качествами.

Язык повести тоже служит воплощению исторической правды, реалистически-правдивому, жизненно-верному изображению людей, характеризующему их социальную сущность.

«Ухватистый» — как называл его Чехов — язык Толстого с необычайной правдивостью передал и веселый, простодушный говорок солдат:

— Первый командир у Шмеля был! Теперь небось! — и отрывистую, лающую речь императора:

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество!

— Болван! — и ворчливое брюзжание старика крестьянина, недовольного работой сына:

— Загривок-то, глянь, как у барана доброго!

Толстой, проникновенный знаток реального, зримого мира, не мог оказаться в плену отвлеченной теории; реальность, которую он постигал во всем ее богатстве и разнообразии, влекла его к себе и побеждала, и он жадно и точно «ухватывал» и «перетянутый и выступающий из-за перетяжки и сверху и снизу живот Николая», и «блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца», и безжизненные глаза старика, и сияющую улыбку красавицы... Вопреки теории смирения реальность, действительность продиктовала Толстому правду социальной борьбы.

Повесть, написанная, как он сам признавался, «потихоньку от себя», оказалась призывающей не к смирению, а к борьбе, к борьбе с главным злом того времени — самодержавным строем. В этом — ее высокая «верность действительности». И быть может, именно поэтому Толстой-моралист, Толстой — проповедник христианства так и не отдал в печать повесть Толстого-художника, так что она появилась в печати только в 1911 году, через год после смерти ее автора.

ОБЛИЧИТЕЛЬ «УЖАСНЕЙШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

«А какие эти, братец ты мой, белолобые ребята хорошие! — говорит о горцах русский солдат Авдеев, посланный царем на Кавказ воевать с горцами. — Право, совсем как российские...»

С глубоким уважением относится Толстой к простым трудящимся людям — русским ли, горцам ли — и с презрительной брезгливостью к тунеядцам из «высшего круга». Наместник царя на Кавказе, Воронцов, изображен в повести хитрым, лицемерным, бездушным, оглушенным лестью; жена его сына, княгиня Мария Васильевна, живет в военном лагере роскошной, праздной жизнью, и солдаты презирают ее за то, что она барыня, и Толстой вместе с ними; простодушный молодой человек, Бутлер, нравственно падает, загрязняется, чуть только он соприкоснулся с людьми из этого «высшего круга». Уважение Толстого к простым людям сказалось в той удивительной сочувственной точности, с какой он воспроизводит их труд — тяжелый боевой труд солдат, мерзнущих в ночном пикете или под пулями рубящих лес, и тяжелый труд крестьян, и труд горцев, восстанавливающих родной аул. Ответственным за все страдания, какие переносят простые люди, Толстой сделал самодержавный помещичий строй — и обрушил на этот строй всю мощь своего обличительного искусства.

Сюда, в характеристику Николая и его чудовищной, противоестественной власти, Толстой вложил всю свою ненависть к крепостническому царскому строю, здесь он изобразил все то, что он призывал ненавидеть. Описывая день Николая I, Толстой сохраняет присущий ему тон спокойного объективного повествования, но под этим внешним спокойствием скрывается страсть: глава посвящена разоблачению бессмысленной жестокости, тупости, злобы и всемогущества русского царя — этого «высочайшего фельдфебеля», как называл Николая I Герцен. На страницах статей и воспоминаний Герцена (чьи произведения

к концу своей жизни Толстой ставил чрезвычайно высоко) разбросано немало метких характеристик Николая — его наружности и его деспотизма; некоторые черты, подчеркнутые Толстым в «Хаджи-Мурате» — например, стремление Николая постоянно наводить ужас на окружающих, — уже прежде него подчеркнуты Герценом в «Былом и думах» (Николай любил «испугать слушателя до обморока»). Но Герцен, ненавидевший и постоянно разоблачавший Николая и его царствование, сделал из него страшный символ самовластия, «взлыстую медузу с усами» — Толстого же занимала психология прежде всего, и он заглянул внутрь, в самую глубь души российского самодержца, пытаясь постичь и сделать явственным тот сложный психологический механизм, с помощью которого этот человек, не задумываясь отдававший приказы прогнать солдат сквозь строй, поддерживавший всеми силами те мучительства, каким подвергали крестьян помещики, палач декабристов, гонитель Пушкина, Лермонтова, Герцена, человек, неумоимо ливший кровь лучших людей своей страны, умудрялся считать себя благодетелем России и всего человечества. На страшной жестокости Николая, на его неспособности видеть и понимать, что он делает, на тех противоречиях, которые владеют им и которых он не замечает, сосредотачивает внимание читателя Толстой. «В Николае поражает одна черта, — говорил Толстой, — он сам себе противоречит, совсем того не замечая и считая себя всегда безусловно правым». «Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей, — пишет Толстой в повести, — довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и дела с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и нелогичны между собой, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал». Вот Николай приговаривает студента-поляка к 12 тысячам шпицрутенов — т. е.

к верной и мучительной смерти — и тут же, в той же резюлюции, пишет: «Но слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее»; вот, не имея никаких стратегических способностей, отдает самые противоречивые повеления армии, считая себя великим стратегом. Толстой тут же объясняет причину замеченного им и выставленного в повести всем напоказ нравственного уродства Николая — и объясняет ее не только психологически, но и социально. Причина — во всем государственном строе помещичьей России, вручившем Николаю самодержавную власть и окружавшем его волнами лести, причина — «дух разлитого вокруг него подобострастного угодничества».

Лесть окружающих позволяет князю Воронцову видеть в поражении — победу; удесятеренная лесть растленного общества позволяет Николаю отдавать приказания, противоречащие одно другому, губительные и бесчеловечные, и считать их справедливыми и мудрыми только потому, что отдал их он.

Изо всех глав повести на главу о Николае Толстой потрачено наибольшее количество подготовительного труда.

Николай занял в повести столько места, что Толстой собирался даже вывести его за рамки «Хаджи-Мурата» и написать о нем особую вещь. «Бьюсь над главой о Николае Павловиче, которая... мне кажется важна, служа моему пониманию власти», — писал он в 1903 году одному из своих друзей. И в другом месте: «Вся жизнь его, от того страшного часа, когда он дал приказ стрелять картечью в толпу на Сенатской площади, было одно сплошное ужаснейшее преступление».

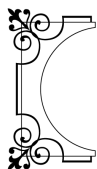
Для Толстого помещичий строй царской России — «одно сплошное ужаснейшее преступление». Этот строй во главе с Николаем виноват в том, что варварски уничтожен цветущий горский аул, что погиб безо всякой надобности — только для того, чтобы дать возможность выслужиться какому-то баричу! — солдат Авдеев, что русские солдаты, которым Толстой посвятил столько любовных страниц

в «Севастопольских рассказах», в «Войне и мире», в «Хаджи-Мурате», вынуждены враждовать со «славными ребятами» — горцами.

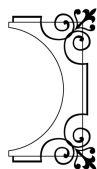
Уважительная любовь к простым людям; бесстрашная критика «ужаснейших преступлений» царского строя и призыв к борьбе с этим строем — вот что делает повесть Толстого подлинно исторической и правдивой, вопреки звучащей на отдельных ее страницах проповеди покорности и смирения.

Лидия Чуковская





ХАДЖИ-МУРАТ



Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репейного сорта, который у нас называется «татарин» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что сте-

бель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещицье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара¹. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вы-

¹ Скородить — бороновать.

мазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдастся человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдастся».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина¹, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб² Шамиля, не выезжавший иначе, как с сво-

¹ Муэдзин — прислужник в мусульманском храме, мечети, возвещающий с минарета часы молитвы.

² Шамиль разделил подвластную ему территорию на 3 округа, во главе которых поставил особых начальников — наибов. В сороковых годах XIX века в государстве Шамиля было свыше пятидесяти округов — наибств. Хаджи-Мурат одно время был наибом Аварии (см. примечание к стр. 48 на стр. 169).

им значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом¹, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум»², — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое

¹ Мюрид — «послушник»; человек, давший обет беспрекословного повиновения своему духовному наставнику — мюршиду. (О политическом значении мюридизма в двадцатых годах XIX века — см. примечание к стр. 82 на стр. 173–174.)

² «Привет тебе, здравствуй!» — кавказское приветствие, на которое принято отвечать «алейкум селям!».

стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете¹ на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестящими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями вверх. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

¹ Бешмет — верхняя одежда кавказца, нечто вроде стеганой поддевки.

— Хабар иок — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдору место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю¹. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей слышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

¹ Здесь и далее знаком «*» обозначены комментарии в конце повести (примеч. автора коммент.).

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Снял у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточках.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля*, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку¹, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающей желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах². Хаджи-Мурат поздоровался с вновь

¹ Кунак — гость, друг.

² Ноговицы — верхняя часть кавказской обуви, прикрывающая голень и икру.

пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Вербка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун¹ заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.

— Айя!² — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи³ послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо

¹ Аргун — приток Сунжи — реки, впадающей в Терек.

² Айя — да.

³ Аул на берегах реки Гехи, окруженный дремучими лесами.

вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей¹ черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входящих в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши², блины в масле, сыр, чурек — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесплошвенных чувяках³, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

¹ Хозыри — карманчики для ружейных патронов, наши-тые по обеим сторонам груди на черкеске.

² Пильгиши — клецки.

³ Чувяки — кавказские комнатные туфли без каблуков, с загнутыми сверху носками.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган¹, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался

¹ Высокий глиняный кувшин с узким горлышком.

на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой¹ и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской², в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной

¹ Кунацкая — комната для приема гостей.

² Крепость на реке Аргуни, на левом фланге кавказской линии. «Кавказской линией» назывались укрепления, воздвигнутые русскими войсками по рекам Кубань, Малка, Терек, Лаба, Сунжа, а также все завоеванные земли по северной стороне Главного и Андийского хребта.

чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет¹.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, оружие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

¹ Секрет — бойцы, высланные вперед и неприметно, из укрытия, следящие за движением неприятеля.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый¹. Ну-ка? Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справиться, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал займы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

¹ Проказник, затейник, плут.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого непрерывающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья деревьев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он,

мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок¹, шашка иок, — говорил он, показывая на себя. — Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Ав-

¹ Нет.

дееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, поговоришься, — недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар?¹ — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар?² — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговорились хорошо. Хорошие ребята. Очень хорошие.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

¹ Дети есть?

² Жена есть?

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими¹ вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выпущенный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернбровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином² и заглядывая ему

¹ Флигель-адъютант — придворный военный чин; офицер, состоящий при императоре, для исполнения его поручений.

² Кринолин — юбка широкая, пышная, натянутая на тонкие стальные обручи.

в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер¹ кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожалала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

¹ Термин карточной игры (виста). Роббер — это несколько карточных партий, составляющих одну игру.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса¹. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

¹ Каптенармус — унтер-офицер, ведавший имуществом и провиантским довольствием роты или батальона.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать.

— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un emissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous?¹

¹ — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?

— Но, дорогая...

— При чем тут «дорогая»? Это, конечно, лазутчик?

— Тем не менее я не могу тебе сказать.

— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!

— Ты? (*фр.*)

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибежала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услышав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес, черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загордили дорогу.

Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их шелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков слышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лошину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лошины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони

за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором ждали его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Побережся надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с вин-

товкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумках, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы¹, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией*, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха»², и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлев-

¹ Два мешка, связанные вместе и перекинутые через седло.

² Начало мусульманской молитвы «ля иллях иль алла» — «нет бога кроме бога».